

Доднесь тяготееет: Документальная повесть (фрагмент)

Предисловие - Александр Аникст

Давным-давно, в начале двадцатых годов двадцатого века, девочка Вероника Знаменская жила в Москве в Малом Знаменском переулке и училась в школе, находившейся на Знаменке. Мы с ней были в одном классе. Тогда это называлось не классом, а группой, и все было иначе, чем теперь. Еще был жив Ленин. Школа помещалась в старинном господском доме, наискосок от Народного комиссариата по военным и морским делам (теперь Министерство обороны СССР). Иногда мы видели, как туда приезжал на автомобиле народный комиссар Троцкий. Однажды мальчики на школьном дворе играли в футбол, и мяч, перескочив через забор, попал прямо в открытый автомобиль наркома. Нам сделали внушение играть осторожнее.

Девочке Веронике было тринадцать лет. Нас связывала детская дружба, первая любовь. Я часто провожал ее из школы до большого серого дома в стиле модерн. Потом стал бывать в этом доме. Брата Вероники я знал по школе, он был старше нас. Помню его, высокого, немного заикающегося. Он славился как один из лучших бегунов школы. С остальными членами семьи познакомился, когда приходил в большую, недавно барскую квартиру, которую реквизировали и дали семье Знаменских после того, как ее покинули прежние обитатели.

Родители Вероники показались мне необычными. Константин Знаменский носил длинные волосы, вместо галстука у него был красиво повязанный черный бант; он выглядел художником. А на самом деле был обыкновенным служащим.

Необыкновенной красотой отличалась мать, Эсфирь Григорьевна. Высокая, статная, она мне всегда казалась царственной. Овальное лицо обрамляли черные волосы с двумя кудельками по бокам, как у пушкинской Татьяны, запомнившейся мне по какой-то иллюстрации.

Но еще более романтической выглядела тонкая, хрупкая Дина. В ней чудилась неуловимая прелесть и, как мне казалось, что-то таинственное.

И сама Вероника — высокая, ладная, полная энергии, прошедшая через все бури эпохи с несокрушимой жизненной силой. Надо, чтобы написанная ею книга о своей жизни дошла до читателей. Здесь только отрывки, а она создала непрдуманый роман о судьбе женщины от двадцатых до восьмидесятых годов нашего столетия, книгу большой человеческой правды.

Возвращаюсь на Знаменку. Детская любовь проходит быстро. Но осталась дружба, сохранившаяся и после того, как мы закончили семилетку. Жизнь мотала нас обоих, каждого по-своему, но одно было общее, как у многих из нашего поколения. Моего отца расстреляли, мать прошла через семь лагерных лет, я годами носил клеймо сына врагов народа. Оба мы выжили случайно. Теперь мы древние люди железного, кровавого века. Но не о нас речь.

Дойдет ли до следующих поколений боль, страдания, муки тех, чьи жизни были насильственно оборваны? Им не дали осуществить своего человеческого назначения, отняли все — родных, друзей, любовь. Они погибли безвестно, думали, что не останется и следа их существования. Ведь не осталось даже могил, куда кучами сваливали их трупы...

Надо помнить о них. Святой долг живущих — чтить память ушедших, не только славных, но и тех безымянных, кто, как и мы, мог бы чувствовать, думать, страдать, иногда радоваться — словом, жить обыкновенной человеческой жизнью, которой их безвременно лишили.

...Мою сестру Дину арестовали в 1936 году. Ордер был подписан нашим дядей Геной. Но арестовали ее не в Москве, а в Сальске, куда она только что уехала вслед за своим мужем Владимиром Георгиевичем Голенко. Он окончил Институт красной профессуры, был генетиком, биологом. В этом качестве его и послали в Сальск — проводить там работы по селекции лошадей.

Перед отъездом, собирая свой чемоданчик, Дина сказала мне:

— У меня такое чувство, что я сюда больше не вернусь.

На перроне она повторила:

— Мама, у меня предчувствие, что мы больше не увидимся.

— Не говори глупости, — резко сказала мама.

Но Дина была права: мы больше не увиделись...

С ордером на ее арест пришли к нам после ее отъезда дня через три. Они провели у нас всю ночь, до шести часов утра, пока из Сальска им не сообщили, что Дина взята. Их было четверо — трое мужчин и одна женщина. Всю ночь они производили обыск в комнатах Дины и Голенко, в нашей с моим мужем, Владимиром Германовичем Корицким, в столовой и в общей комнате. В столовой искать было нечего, там стояли стол, стулья и пианино. Времени у них было много, а вещей мало: у Голенко с Диной — собрание сочинений Ленина, специальная литература по генетике, старые записи лекций, учебники немецкого языка, который изучала Дина, а у нас с Володей — книги и учебники по физике и геологии, конспекты лекций, в обоих гардеробах — у меня и у Дины — такая скудость, что одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что и здесь искать нечего.

Они перелистывали книги, заглядывали под корешки, читали конспекты и письма. Владимир Георгиевич вернулся из Сальска через неделю. Еще через неделю пришли конфисковать имущество Дины...

На этот раз их было трое.

Оперативники стояли перед раскрытым гардеробом в злой растерянности. Слева на полках лежали стиранные-перестиранные простыни, наволочки, вылинявшие мужские трусы и рубашки с потертыми воротничками, кое-какая женская мелочь — начатый флакон духов, нераспечатанная коробочка пудры, несколько носовых платков, пара новых чулок — подарок мамы, несколько штопаных... Справа висели на плечиках шерстяное коричневое платье, халат, сарафанчик, жеребковый жакет, потертый на сгибах и локтях, единственная зимняя вещь Дины, а под ними стояли стоптанные туфли и фетровые боты, давно вышедшие из моды.

— Успели припрятать, — сказал наконец один из оперативников.

— Что? Что вы сказали? Как это «припрятать»? — возмутился Голенко.

Те даже не взглянули в его сторону. Один что-то сказал другому, тот кивнул, сел к столу и приготовился писать протокол конфискации, или как это у них называется.

— Я на вас жаловаться буду, вы не имеете права оскорблять... Я член партии...

Губы у Голенко дрожали, он побледнел. На этот раз все трое обернулись к нему, лица угрожающие, враждебные. Сейчас разразится скандал, может случиться непоправимое... Я взяла его выше локтя. Он вырвался.

— Мы... мы так живем. Мы живем на свою зарплату, нам не на что обогащаться... Да и не ставим себе этой цели...

— Володя, перестань, замолчи. — Я пыталась увести его из комнаты.

Мой муж стоял в дверях и звал его.

— Припрятали! Мы припрятали! — не унимался Голенко. — Да как вы смеете... У нас никогда ничего не было... Да если бы и было, мы бы себе этого не позволили. Вы за это ответите...

Ах, наивный Володя Голенко! Он верил, безоговорочно верил в закон, в справедливость, в печатное слово, особенно если оно, это слово, напечатано в газете, верил, как все, в непогрешимость Сталина, верил, вопреки своей безграничной любви к Дине, даже в справедливость возмездия: ведь Дину арестовали за то, что она в прошлом была женой троцкиста. «Ну что из того, что это было десять лет назад, —

рассуждал он, — все равно надо нести ответственность, как бы она ни была тяжела! Значит, так надо, значит, там считают эту меру необходимой...»

Мне удалось оттеснить его в столовую, и я сказала мужу, чтобы он его не выпускал из комнаты.

Между тем оперативники расстелили на полу одну из простыней, разделенную утюгом на квадраты, и в трогательной незащитности обнаружили аккуратные заплатки, поставленные Диной. И в эту простыню полетели и Динины стоптанные туфли, и ситцевый халатик, и заштопанные чулки. Я как-то ухитрилась стянуть у них из-под носа газовый платочек, красный в горошек, смяла его в комочек и, дрожа всем телом, стиснув зубы, чтобы не стучали, держала его в кулаке, а кулак в кармане. Я так боялась разоблачения! Но мне надо было что-нибудь оставить себе на память о Дине, хоть что-нибудь! Они побросали в кучу этих жалких вещей даже начатый флакон духов, даже коробочку пудры... Я скрыла свое «воровство» и от Голенко, так как, зная его, имела все основания бояться, что он не только осудит меня, но и заставит вернуть им этот платок.

Я храню его, красный в горошек платок Дины...

«Скажи маме и Володе, — писала мне потом Дина в одном из трех от нее писем, — что я могу высоко держать голову и мне не за что просить прощения, мне не в чем раскаиваться, я ни в чем не виновата...»

Это письмо пришло через несколько месяцев, а Володю Голенко арестовали через несколько дней...

— Если увидишь Дину, — сказал мне Володя, когда его уводили, — скажи ей, что я ни в чем не виноват...

Стоит ли говорить, что эти его слова так же не дошли до Дины, как и ее — до него... Дина умерла в лагере. Дело ее было пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 28 января 1958 года.

...Приговор Военной коллегии от 31 мая 1937 года и постановление от 4 января 1938 года в отношении Знаменской Христины

Константиновны по вновь открывшимся обстоятельствам

отменены, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Председательствующий судебного состава

Знаменская Х. К. реабилитирована посмертно.

Военной коллегии Верховного суда СССР

Аналогичную справку получил и сын от первого брака Владимира Георгиевича Голенко. Родители его, старые большевики, до этого дня не дожили.

Мой дед, Григорий Филиппович Ягода, был часовым мастером в Нижнем Новгороде. Детей было много — пять дочерей (моя мама была старшей) и три сына. Столь большую семью содержать было трудно, поэтому некоторых детей отправляли в Рыбинск, к бабушкиной родне.

В квартире деда, в Гусином переулке, была подпольная типография: в одной из комнат мой отец печатал на ротаторе прокламации. Мама ему помогала. Так они познакомились.

В 1905 году во время сормовских событий старшего из сыновей, Мишу, зарубили казаки. А в 1917 году погиб второй сын, Лева. Его расстреляли на фронте за большевистскую агитацию среди солдат корниловской армии.

Остался младший — Гена, Генрих Ягода, с начала 20-х годов работавший в ВЧК — ОГПУ и потом ставший наркомом внутренних дел.

В середине 30-х годов я, студентка, конечно, и подумать не могла о зловещей роли Сталина и его подручных — «соратников», как их тогда называли, среди которых был и мой дядя Гена. Он был первым в троице — Ягода, Ежов, Берия, — крутившей кровавое колесо.

Когда в 1937 году Генрих Ягода был арестован, его родителей и всех сестер сначала выслали в Астрахань, через год всех арестовали, и след их исчез... Тот же смерч террора смел с лица земли и всю рыбинскую родню.

...Мы стояли в прихожей бабушкиной квартиры, входная дверь была уже открыта — еще один шаг — и никто никогда сюда не вернется.

— Видел бы Генрих, что делают с нами, — тихо сказал кто-то.

И вдруг бабушка, которая никогда не повышала голоса, обернувшись к пустой квартире, громко крикнула:

— Будь он проклят! — Она переступила порог, и дверь захлопнулась, и звук этот гулко отозвался в лестничном проеме, как эхо материнского проклятия.

И эхо это все звучит и звучит в моей памяти: «Будь он проклят!»

По неизвестной причине (и к всеобщему удивлению) меня не арестовали. Мне повезло и в другом: я успела закончить геологоразведочный институт и получить диплом инженера-геолога. Однако на этом мое «везение» кончилось: на работу меня никуда не принимали, даже в геологическую экспедицию в Якутию! Так как на вопрос, содержащийся тогда во всех анкетах, есть ли репрессированные родственники, я честно отвечала: есть. Но вот на моем пути встретился Московский молодежный театр. Анкета не содержала вопроса о репрессированных родственниках, и я была принята.

Это мое превращение из геолога в актрису произошло в тот год, когда мама жила еще в Астрахани. В мае 1938 года от нее перестали приходить письма, она не вышла на мой телефонный вызов — я поехала к ней.

...Комната, которую она снимала, была пуста: не было ни мамы, ни единой маминой вещи. В соседней комнате хозяева пили чай. Хозяйка, толстая баба в грязной кофте, равнодушно рассказала, что, когда мама вернулась с переговорного пункта 6 мая, ее уже ждали. Она очень кричала, билась, рыдала... Увели ее силой. Хотя я и не думала спрашивать о маминых вещах, мне и без того было все ясно, женщина с поразительной торопливостью начала говорить, нагло глядя мне в лицо, что, мол, «Есфирь Григорьевна все вещи взяла с собой, вот только таз и оставила...».

Постояв еще немного посреди этой голой комнаты, стараясь представить маму здесь, в этих стенах, простившись с ней еще раз, я ушла, ничего не сказав этим людям.

Мужчина продолжал сидеть за столом и по-прежнему хлебал чай из блюдца, хрустя сахаром.

Я поехала по другому адресу, к дому, где жили все остальные.

Мне долго пришлось кружить по пыльным окраинам астраханских улиц, ходить по дощатым тротуарам, заглядывать в щели сплошных высоких заборов, пока нашла этот дом. Он стоял за таким же забором и был таким же, как и все другие, — не очень большим, крепко сколоченным, под железной крышей. Я вошла в калитку и очутилась в небольшом дворике, заросшем нежной молодой травкой. Было очень тихо. Я сразу почувствовала пустоту дома. Дверь была приоткрыта, я остановилась на пороге и постучала.

— Кто там? — раздался мужской голос.

Я узнала его, это был голос Мордвинкина, мужа Таси, одной из моих четырех теток, — мужа всех остальных были арестованы поодиночке и расстреляны. Только один из них при аресте успел пустить себе пулю в лоб. И лишь сейчас я вспомнила, что мама писала мне, что Владимир Юрьевич недавно приехал к Тасе, так как его уволили с работы, из Главреперткома, и выселили из квартиры.

— Здравствуйте, — сказала я, входя в комнату.

— Здравствуй, — ответил он равнодушно, как будто мы виделись по десять раз на дню и ему надоело здороваться.

Он был все такой же — в своем неизменном пенсне на шнурке, с острой бородкой и зачесанными назад волосами. Когда я вошла, он что-то читал. Рядом с ним играла трехлетняя Виолка, его и Тасина дочка. То, что это ведь моя двоюродная сестра, мне тогда в голову не пришло. На столе было не убрано, стоял закопченный чайник, грязные тарелки, чашки, кастрюлька с высохшей кашей, два-три стула стояли как-то боком, пол был давно не мыт, замусорен. Это была комната мужчины, ничего не умеющего делать дома, мужчины, которому было к тому же на все наплевать.

Мы с Диной мало его знали. Встречались с ним на каких-нибудь семейных торжествах за столом у бабушки. Общение ограничивалось равнодушным «здравствуйте» с нашей стороны и небрежным кивком — с его. Мы его не любили. А не любили мы его люто за то, что именно он запретил во МХАТе «Дни Турбиных». Возможно, впрочем, что запретил не он, но тогда мы думали, что он. Мы с Диной успели посмотреть этот спектакль до его запрещения. Кажется, он был последним. В те годы об этом спектакле так и говорили: «До запрещения» и «После возобновления». С тех пор при словах «Дни Турбиных» в моем воображении встает образ Мордвинкина. Но сейчас вся прошлая жизнь, со всеми ее интересами, куда-то отступила и стала казаться такой маленькой, как в перевернутом бинокле.

Я села на стул, сняв с него полотенце, и почувствовала, как я устала. В комнате был полумрак и приятная прохлада.

— Чаю хочешь? — спросил Владимир Юрьевич. — Кажется, еще не остыл.

Я выпила стакан едва теплого жидкого чаю с куском хлеба. У меня слипались глаза. Я хотела спать. Мы оба понимали, что говорить не о чем, и молчали. Я сидела, подперев голову рукой, уставясь в стол, Владимир Юрьевич смотрел в книгу. Ребенок что-то лепетал, обращаясь к отцу. «Боже мой! — подумала я, глядя на Виолку. — Каково же было Тасе оставлять эту кроху — ребенка, которого она так хотела иметь, которого купала в кипяченой воде и держала в стерильной чистоте?!»

— Когда их взяли? — спросила я наконец.

— Шестого.

Значит, в тот же день, что и маму...

— Можно посмотреть... — я не договорила, не зная, как сказать — дом? комнаты? то, что осталось?

Но Мордвинкин понял:

— Можно.

Он опять стал смотреть в книгу, но, по-моему, он ее не читал, за все время он не перевернул ни одной страницы.

В комнатах царил полный разгром. На полу валялись разные вещи — чулки, платья, газеты, а в самой большой, в которой, по моим предположениям, жили старики, пол был покрыт слоем писем и фотографий. Эта комната была самой светлой, и при ярком солнечном свете разгром казался особенно ужасным. Я представила, как сапоги ходили по этим белым листочкам и пожелтевшим фотографиям, хранившимся много лет как самое дорогое, трепетно старческими руками уложенным в шкатулочку, и привезенным сюда, и теперь, кем-то выброшенным, как ненужный хлам, и растоптанным... Я подняла одну из фотографий. Это были сестры бабушки.

«Нашей дорогой Марии на долгую память, — прочла я на обороте надпись, выведенную старинным тонким, витиеватым почерком, — от любящих сестер». Какое-то число... какой-то год... Девятый? Двенадцатый? А сейчас «дорогой Марии» шестьдесят пять лет и она в тюрьме...

Владимир Юрьевич сказал, где находится тюрьма. Сказал он также и о том, что разрешена передача денег в сумме 50 рублей.

Я тотчас пошла разыскивать тюрьму. Но мамы в ней не оказалось. Там были они все, кроме нее! Эта тюрьма называлась Внутренней, и была еще другая, и мне объяснили, как туда проехать. Мама, наверное, там. Где же еще? Ведь третьей тюрьмы в Астрахани нет.

На другой день чуть свет я подходила к огромному полю. Оно было полно народу. Кто сидел прямо на земле, вытоптанной до пыли, кто в одиночку, кто группами. Очень немногие стояли, наверное, не решаясь сесть в пыль и надеясь, что так они смогут простоять несколько часов. Где-то далеко, на том краю поля, виднелось какое-то здание. Мне сказали, что это и есть тюрьма, что весь этот народ — это очередь к ней и что я должна найти последнего.

Шесть часов под палящими лучами солнца я приближалась к маленькому окошку. Шесть часов я надеялась, что передам маме 50 рублей и она обрадуется, поймет, что я здесь, что я на свободе, пока на свободе... Через шесть часов я назвала мамино имя и сунула в щель под едва приподнятым непрозрачным стеклом окошка свои 50 рублей. Но у меня их не взяли, а стали сначала сверяться по спискам. Я слышала шелест переворачиваемых страниц. Потом мне сказали:

— В списках не значится. Выбыла. Следующий.

— Как выбыла? Куда? Проверьте еще раз!..

Мне повторили:

— Выбыла. Следующий.

Сзади напирали, меня оттеснили. И снова я стою на вытоптанном поле. И снова на меня льется нестерпимый зной и ослепительный свет. Но почему-то мне все кажется каким-то черным и стучит в висках. На трамвае еду обратно, добираюсь до дому, и последнее, что я помню, — кровать, на которую я падаю, потеряв сознание.

Очнувшись я, когда было совсем темно. Мордвинкин спал. Голова разламывалась от боли. Ощупью я пошла в кухню, гремела ведрами, отыскивая воду, пила, мочила тряпки и прикладывала их к голове...

Когда я вернулась в Москву и пошла в свой театр, то первая, кого я встретила, была Наташа, которая ввела меня в этот театр. Мы с ней в очередь играли Беатриче в «Слуге Двух господ» и дружили. Она схватила меня за руку и куда-то потащила.

— Слушай, — шепнула она, — арестовали Инку!

А эта Инка была не только нашей с ней общей знакомой, но и женой Додика, из той, рыбинской, родни, которая седьмая вода на киселе, но он с Инкой жил очень близко от меня, и я его знала лучше, чем других «рыбинских», мы ходили друг к другу в гости. Он был очень хорошим фотографом, и у меня осталось много снимков его работы. И его Инка арестована!.. Я было ахнула, но Наташа шикнула:

— Тише!

Мы стояли в углу пустой сцены среди ящиков, старых декораций, каких-то рваных «деревьев» и сломанных скамеек. Театр был пуст, занавес поднят, и зрительный зал зиял своей гулкой пустотой. Мы были одни, но говорили шепотом.

— А как Додик? — спросила я едва слышно.

— Кто? — не поняла Наташа.

— Ну Додик, ее муж?

— Ах, муж... Так его арестовали еще до нее.

— А ребенок? У них ведь была маленькая девочка. Ей, наверное, еще и года не было... Послышались шаги, кто-то спускался по лестнице. Мы метнулись друг от друга.

— Молчи, — успела бросить Наташа.

* * *

СПРАВКА

Председательствующий судебного заседания

Военная коллегия Верховного суда СССР

Военной коллегии Верховного суда СССР

21 июня 1957 г.

полковник юстиции П. Лихачев

№ 4н-028223/56

Москва,

ул. Воровского, д. 13

Дело по обвинению Знаменской Эсфирь Григорьевны, арестованной 6 мая 1938 года, пересмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 8 июня 1957 г.

Постановление НКВД СССР от 16 июня 1938 года в отношении Знаменской Э. Г. отменено, и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Знаменская Э. Г. реабилитирована посмертно.

Через какое-то время я получила такую же справку и относительно моего брата Руси — Германа Знаменского. И так же посмертно...